

Любить больно. Будто дала позволение  
освежать себя, зная, что тот, другой,  
может в любую минуту удалиться с твоей кожей.  
СЬЮЗЕН ЗОНТАГ. “Дневники”

Когда гроб опускали в могилу, жена  
даже крикнула: “Пустите меня к нему!”,  
но в могилу за мужем не пошла...  
А.П. ЧЕХОВ. “Оратор”

**С**емнадцать лет назад, в ночь с 26 на 27 августа 1997 года, умер Сергей Добротворский. К тому моменту мы уже два месяца были в разводе. Таким образом, я не стала его вдовой и даже не присутствовала на похоронах.

Мы прожили с ним шесть лет. Сумасшедших, счастливых, легких, невыносимых лет. Так случилось, что эти годы оказались самыми главными в моей жизни. Любовь к нему, которую я оборвала, — самой сильной любовью. А его смерть — и моей смертью, как бы пафосно это ни звучало.

За эти семнадцать лет не было ни дня, чтобы я с ним не разговаривала. Первый год прошел в полусознательном состоянии. Джоан Дидион в книге “Год магических мыслей” описала невозможность разорвать связь с умершими любимыми, их физически осязаемое присутствие рядом. Она — как и моя мама после папиной смерти — не могла отдать ботинки умершего мужа: ну как же, ему ведь будет не в чем ходить, если он вернется, — а он непременно вернется.

Постепенно острая боль отступила — или я просто научилась с ней жить. Боль ушла, а он остался со мной. Я обсуждала с ним новые и старые фильмы, задавала ему вопросы о работе, хвасталась своей карьерой,

сплетничала про знакомых и незнакомых, рассказывала о своих путешествиях, воскрешала его в повторяющихся снах.

8 С ним я не долюбила, не договорила, не досмотрела, не разделила. После его ухода моя жизнь распалась на внешнюю и внутреннюю. Внешне у меня был счастливый брак, прекрасные дети, огромная квартира, замечательная работа, фантастическая карьера и даже маленький дом на берегу моря. Внутри — застывшая боль, засохшие слезы и бесконечный диалог с человеком, которого больше не было.

Я так свыклась с этой макабрической связью, с этой Хиросимой, моей любовью, с жизнью, в которой прошлое важнее настоящего, что почти не задумывалась о том, что жизнь может быть совсем другой. И что я снова могу быть живой. И — страшно подумать — счастливой.

А потом я влюбилась. Началось это как легкое увлечение. Ничего серьезного, просто чистая радость. Но странным образом это невесомое чувство, ни на что в моей душе не претендующее, вдруг открыло в ней какие-то шлюзы, откуда хлынуло то, что копилось годами. Хлынули слезы, неожиданно горячие. Хлынуло счастье, перемешанное с несчастьем. И во мне тихо, как мышь, заскреблась мысль: а вдруг он, мертвый, меня отпустит? Вдруг позволит жить настоящим?

Годами я говорила с ним. Теперь я стала писать ему письма. Заново, шаг за шагом, проживая нашу с ним жизнь, так крепко меня держащую.

Мы жили на улице Правды. Нашей с ним правды. В этих письмах нет никаких претензий на объективный портрет Добротворского. Это не биография, не мемуары, не документальное свидетельство. Это попытка

литературы, где многое искажено памятью или создано воображением. Наверняка многие знали и любили Сережу совсем другим. Но это мой Сережа Добротворский — и моя правда.

Цитаты без ссылок взяты из статей и лекций Сергея Добротворского.  
Автор рисунков и стихов — Сергей Добротворский.

8 января 2013

11

Привет! Почему у меня не осталось твоих писем? Сохранились только несколько листков с твоими смешными стишками, написанными-нарисованными руко-творным печатным шрифтом. Несколько записок, тоже написанных большими полупечатными буквами. Сейчас я понимаю, что почти не помню твоего почерка. Ни мейлов, ни смс — ничего тогда не было. Никаких мобильных телефонов. Даже пейджер был атрибутом важности и богатства. А статьи мы передавали отпечатанными на машинке — первый (286-й) компьютер появился у нас только спустя два года после того, как мы начали жить вместе. Тогда в нашу жизнь вошли и квадратные дискеты, казавшиеся чем-то инопланетным. Мы часто передавали их в московский “Коммерсант” с поездом.

Почему мы не писали друг другу писем? Просто потому, что всегда были вместе? Однажды ты уехал в Англию — это случилось, наверное, через месяц или два после того, как мы поженились. Тебя не было совсем недолго — максимум две недели. Не помню, как мы тогда общались. Звонил ли ты домой? (Мы жили тогда в большой квартире на 2-й Советской, которую снимали у драматурга Олега Юрьева.) А еще

ты был без меня в Америке — долго, почти два месяца. Потом я приехала к тебе, но вот как мы держали связь всё это время? Или в этом не было такой уж безумной потребности? Разлука была неизбежной данностью, и люди, даже нетерпеливо влюбленные, умели ждать.

12 Самое длинное твое письмо занимало максимум полстраницы. Ты написал его в Куйбышевскую больницу, куда меня увезли на скорой помощи с кровотечением и где поставили диагноз “замершая беременность”. Письмо исчезло в моих переездах, но я запомнила одну строчку: “Мы все держим за тебя кулаки — обе мамочки и я”.

Жизнь с тобой не была виртуальной. Мы сидели на кухне, пили черный чай из огромных кружек или кисловатый растворимый кофе с молоком и говорили до четырех утра, не в силах друг от друга оторваться. Я не помню, чтобы эти разговоры перемежались поцелуями. Я вообще мало помню наши поцелуи. Электричество текло между нами, не отключаясь ни на секунду, но это был не только чувственный, но и интеллектуальный заряд. Впрочем, какая разница?

Мне нравилось смотреть на твое слегка надменное подвижное лицо, мне нравился твой отрывистый аффектированный смех, твоя рок-н-рольная пластика, твои очень светлые глаза. (Ты писал про Джеймса Дина, на которого, конечно, был похож: “актер-неврастеник с капризным детским ртом и печальными старческими глазами”.) Когда ты выходил из нашего домашнего пространства, то становилась очевидной несоразмерность твоей красоты внешнему миру, которому надо было постоянно что-то доказывать, и прежде всего — собственную состоятельность. Мир был большой — ты был маленький. Ты, наверное, страдал от этой несораз-

мерности. Тебя занимал феномен гипнотического воздействия на людей, который заставляет забыть о невысоком росте: “Крошка Цахес”, “Парфюмер”, “Мертвая зона”. Ты тоже умел завораживать. Любил окружать себя теми, кто тобой восторгался. Любил, когда тебя называли учителем. Обожал влюбленных в тебя студенток. Многие из твоих друзей обращались к тебе на “вы” (ты к ним тоже). Многие называли по отчеству.

Я никогда тебе этого не говорила, но ты казался мне очень красивым. Особенно дома, где ты был соразмерен пространству.

А в постели между нами и вовсе не было разницы в росте.

## 2.

14 22 января 2013

Я так отчетливо помню, как увидела тебя в первый раз. Эта сцена навсегда засела у меня в голове — словно кадр из фильма новой волны, из какого-нибудь “Жюля и Джима”.

Я, студентка театрального института, стою со своими сокурсницами на переходе у набережной Фонтанки, около сквера на улице Белинского. Напротив меня, на другой стороне дороги — невысокий блондин в голубом джинсовом костюме. У меня волосы до плеч. Кажется, у тебя они тоже довольно длинные. Зеленый свет — мы начинаем движение навстречу друг другу. Мальчишеская худая фигурка. Пружинистая походка. Едва ли ты один — вокруг тебя на Моховой всегда кто-то вился. Я вижу только тебя. По-женски тонко вырезанное лицо и голубые (как джинсы) глаза. Твой острый взгляд меня резко полоснул. Я останавливаюсь на проезжей части, оглядываюсь:

— Это кто?

— Ты что! Это же Сергей Добротворский!

А, Сергей Добротворский. Тот самый.

Ну да, я много слышала про тебя. Гениальный критик, самый одаренный аспирант, золотой мальчик, любимец Нины Александровны Рабинянц, моей



и твоей преподавательницы, которую ты обожал за ахматовскую красоту и за умение самые путанные мысли приводить к простой формуле. Тебя с восторженным придыханием называют гением. Ты дико умный. Ты написал диплом об опальном Вайде и польском кино. Ты — режиссер собственной театральной студии, которая называется “На подоконнике”. Там, в этой студии на Моховой, в двух шагах от Театрального института (так написано в билете), занимаются несколько моих друзей — однокурсник Леня Попов, подруга Ануш Варданын, университетский вундеркинд Миша Трофименков. Туда заглядывают Тимур Новиков, Владимир Рекшан, длинноволосый бард Фрэнк, там играет на гитаре совсем еще юный Максим Пежемский. Там ошивается мой будущий лютый враг и твой близкий друг, поэт Леша Феоктистов (Вилли).

15

Мои друзья одержимы тобой и твоим “Подоконником”. Мне, презирающей подобного рода камлания, они напоминают сектантов. Андеграундные фильмы и театральные подвалы меня не привлекают. Я хочу стать театральным историком, азартно роюсь в пыльных архивах, близоруко щурюсь, иногда ношу очки в тонкой оправе (еще не перешла на линзы) и глубоко запутана в отношениях с безработным философом, мрачным и бородатым. Он годится мне в отцы, мучает меня ревностью и проклинает всё, что так или иначе уводит меня из мира чистого разума (читай — от него). А театральный институт уводит — каждый день. (Недаром театр на моем любимом сербском — “позорище”, а актер — “глумец”.)

Театральный институт был тогда, как сказали бы сейчас, местом силы. Это были его последние золотые дни. Здесь еще преподавал Товстоногов, хотя жить ему

оставалось недолго, несколько месяцев. Ты называл его смерть счастливой — он умер мгновенно (про смерть говорят “скоропостижно”, больше ведь ни про что так не говорят?), за рулем. Все машины поехали, когда включился зеленый свет, а его знаменитый “мерседес” не двинулся с места. Так умирает герой Олега Ефремова за рулем старой белой “волги” в фильме с невыносимым названием “Продлись, продлись, очарованье” — под тогдашний истерически-бодрый хит Валерия Леонтьева “Ну почему, почему, почему был светофор зеленый? А потому, потому, потому, что был он в жизнь влюбленный”.

Мы ходили на репетиции к Кацману. Его предыдущий курс был звездным курсом “Братьев Карамазовых” — Петя Семак, Лика Неволина, Максим Леонидов, Миша Морозов, Коля Павлов, Сережа Власов, Ира Селезнева. Кацман любил меня, часто останавливал на институтских лестницах, задавал вопросы, интересовался, чем я занимаюсь. Я болезненно стеснялась, что-то лепетала про темы своих курсовых. Вместе с Кацманом на Моховой преподавал Додин и именно тогда выпустил “Братьев и сестер”, на которых мы ходили по десять раз. Лучшие педагоги были еще живы — студентки-театроведки млели от лекций Барбоя или Чирвы, в аудиториях витали эротические флюиды. Студенты-актеры носились со своими невоплощенными талантами и неясным будущим (про самых ярких говорили: “Какая прекрасная фактура!”); студентки-художницы носили длинные юбки и самодельные бусы (ты называл эту манеру одеваться “магазином Ганг”); студенты-режиссеры вели беседы о Бруке и Арто в институтской столовой за стаканом сметаны. Так что и ленинградский театр,

и ЛГИТМиК (он сменил столько названий, что я запуталась) были еще полны жизни и притягивали одаренных и страстных людей.

Тогда, на Фонтанке, когда я остановилась и обернулась, то увидела, что ты тоже обернулся. Через несколько лет все запоют: “Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я”. Мне показалось, что ты посмотрел на меня почти презрительно. При твоём маленьком росте — сверху вниз.

Ты потом говорил мне, что не помнишь этой встречи — и что вообще увидел меня совсем не там и не тогда.

18 26 марта 2013

Так обидно, что сегодня тебя не было рядом со мной. Я ходила на выставку “Дэвид Боуи” в лондонском музее Виктории и Альберта. Я о ней столько слышала и читала, что казалось, я там уже побывала. Но, оказавшись внутри, почувствовала, что сейчас потеряю сознание. Там было столько тебя, что я эту выставку проскочила почти по касательной, не в силах впустить в себя. Потом сидела где-то на подоконнике у внутреннего музейного дворика и старалась удержать слезы (увы, безуспешно).

И дело не в том, что ты всегда восхищался Боуи и сам был похож на Боуи. “Хрупкий мутант с кроличьими глазами” — так ты его однажды назвал. И не в том, что твои коллажи, рисунки, даже твой полупечатный почерк так напоминали его. И даже не в том, что для тебя, как и для него, так много значила экспрессионистская эстетика, так важны были Брехт и Берлин, который ты называл городом-призраком, исполненным пафоса, пошлости и трагизма. Дело в том, что жизнь Боуи была бесконечной попыткой превращения себя в персонаж, а жизни — в театр. Сбежать, спрятаться, изобрести себя заново, обмануть всех, закрыться маской.

Я нашла твою статью о Боуи двадцатилетней давности. “Кинематограф по определению был и остается искусством физической реальности, с которой Боуи долго и успешно боролся, синтезируя собственную плоть в некое художественное вещество”.

Помню, как ты любовался его разноцветными глазами. Называл его божественным андрогином. Как восхищался его персонажем — ледяной белокурой бестией — в умозрительном и статичном фильме Осимы “Счастливого Рождества, мистер Лоуренс”, который ты любил за нечеловеческую красоту двух главных героев. Как говорил, что вампирский поцелуй Боуи с Катрин Денев в “Голоде” — едва ли не самый прекрасный экранный поцелуй. Тогда меня всё это не слишком впечатляло, но теперь неожиданно ударило в самое сердце. И в той же твоей статье я читаю: “Кинематограф так и не уловил закон, по которому живет это вечно изменяющееся тело. Но кто знает, может быть, именно сейчас, когда виртуальная реальность окончательно потеснила физическую, мы все-таки узреем истинный лик того, кто не отбрасывает тени даже в ослепительном луче кинопроектора”.

Ну почему, почему у меня текут эти глупые слезы? Ты умер, он жив. Счастливо женат на роскошной Иман, остепенился, обрел вполне себе физическую реальность — и как-то живет со своим виртуальным мифом.

А ты умер.

## 4.

20 29 марта 2013

Сегодня так скучаю по тебе! Рылась в сети — вдруг найдется что-то, что я о тебе совсем не знаю? Разыскала письма Леньки Попова, блестящего театрального критика, одного из тех, кто называл тебя учителем. (Вот привычно написала “Ленька” и вспомнила, что Попов всегда страстно защищал букву “ё”. Так что — все-таки — Лёнька.) Он умер через два года после тебя — от лейкемии. Говорят, накануне смерти он просил театральную афишу — был уверен, что к концу недели сможет пойти в театр. Ему было тридцать три, меньше, чем тебе на момент твоей смерти. Он умер так нелепо, так рано. Почему? Он не убегал от себя (ты писал, что романтический герой всегда бежит от самого себя, а значит — по кругу), не осмыслял свой обожаемый театр как трагический медиум. Хотя что я о нем знала?

Лёнькины письма я тогда пропустила. Я столько лет после твоей смерти жила как сомнамбула — и так много всего мимо меня проскользнуло. В одном письме Лёнька пишет своему другу Мише Эпштейну, это 1986 год: “Мишка, ты видел этого человека?! Ну так что тут говорить? Говорить ли о том, какое счастье с ним работать, общаться с ним